



НИКОЛАЙ КОСТОМАРОВ

СКОТСКОЙ БУНТ

Письмо малороссийского помещика к своему петербургскому приятелю
1879-1880

У нас происходили необыкновенные события, до того необыкновенные, что если б я не видал их собственными глазами, то ни за что не поверил бы услышавши об них от кого бы то ни было или прочитав где-нибудь. События совершенно невероятные. Бунт, восстание, революция!

Вы подумаете, что это какое-то неповиновение подчиненных или подначальных против своих властей. Точно так. Это бунт не то что подчиненных, а подневольных, только не людей, а скотов и домашних животных. Мы привыкли считать всех животных существами бессловесными, а потому и неразумными. Под углом человеческого воззрения оно кажется логичным: не умеют говорить, как мы говорим между собою, стало быть, и не думают и ничего не понимают!

Но так ли это на самом деле? Мы не можем объясняться с ними и оттого считаем их неразумными и бессловесными, а на самом деле выходит, как пообсудим хорошенько, что мы сами не разумеем их языка. Ведь ученые доказывают, что название «немец» значит немой, и эта кличка дана славянами народам тевтонского племени оттого, что славяне не понимали речи этих народов. Точно то же произошло и здесь.

В последнее время наука начала открывать, что у животных, которых мы, по нашему легкомыслию, чествуем бессловесными и неразумными, есть свой способ передавать впечатления – свой собственный язык, не похожий на наш, человеческий. Об этом уже писано было много. Мы, живучи в хуторской глуши, не читаем таких сочинений, слышим только, что есть они где-то в Европе; зато у нас найдутся такие мудрецы, которые получше европейских ученых ознакомились со способами, какими скоты выражают свои мысли.

И в нашем хуторе есть такой мудрец. Зовут его Омелько. Удивительный, я вам скажу, человек! Никаких книг он не читал, да и грамоте не учился, а знает в совершенстве языки и наречия всех

домашних животных: и волов, и лошадей, и овец, и свиней, и даже кур и гусей! И как он, подумаете, мог этому всему научиться, когда ни у вас, ни у нас, да и нигде нет ни грамматик, ни словарей скотских наречий.

Все постиг Омелько благодаря своим необычным способностям, без всяких руководств, вооружаясь единственно продолжительною упорною наблюдательностью над скотскими нравами и бытом.

Омелько находится при скотах от молодых ногтей, уже более сорока лет. Таких у нас в Малороссии не мало, но никто не достиг и четверти тех познаний, какими обладает Омелько. Он до того усвоил язык скотов, что стоит только волю замычать, овце заблеять, свинье захрюкать – и Омелько сейчас вам скажет, что животное хочет выразить. Этот единственный в своем роде знаток скотской природы ни за что не соглашается с теми, которые допускают в скотах присутствие умственных способностей только в слабой степени в сравнении с человеческими. Омелько уверяет, что скоты показывают ума не меньше, как и человек, а иногда даже и больше. Сколько раз, бывало, замечал по этому поводу Омелько: «Поедешь ночью, дорогу плохо знаешь и собьешься, ищешь-ищешь, не находишь; тогда коню своему дай волю, он сам лучше найдет дорогу и привезет тебя, куда нужно».

И с волами такое бывает: пасут мальчишки волов. Да заиграют или заспят, а волов растеряют; плачут потом, бедные, а волы – сами без пастухов домой прибредут. Один раз пономарь, приезжавший из нашего прихода, что за семь верст, стал рассказывать про Валаама и его ослицу, которую для удобопонятливости переименовал в кобылу. Омелько, слушая, сказал: «Нет ничего мудреного: значит, лошадиный язык понимал. Дело возможное, да мне бы, может быть, кобыла такое сказала». Многое, очень многое сообщал нам Омелько из своих многолетних опытов обращения со скотами разных пород, объясняя странное событие, о котором мы сейчас расскажем.

Еще с весны 1879 года у меня в имении между скотами разных наименований начали показываться признаки сопротивления и непокорства, возник дух какого-то революционного движения, направленного против власти человеческой, освященной веками и преданиями.

По замечанию Омелька, первые симптомы такого направления появились у бугаев, которые везде с незапамятных времен отличались склонностью к своеволию, почему нередко человек принужден был прибегать к строгим, иногда жестоким мерам для их обуздания. У нас в имении был такой бугай, что его боялись пускать со стадом в поле,

держали постоянно в запертом загоне, а когда водили на водопой, то не иначе, как с цепями на ногах и с деревянным зонтиком, устроенным над глазами, для того чтобы не дать ему ничего видеть на пути перед собою; иначе он был так свиреп, что на каждого встречного бросится и поднимет его на рога ни за что, ни про что. Несколько раз думал было я убить его, но каждый раз спасал ему жизнь Омелько, уверяя, что этот бугай обладает такими великими достоинствами, присущими его бычачьей натуре, что потерю его не легко заменить будет другим бугаем.

По настоянию Омелька я решил оставить его в живых, но с тем, чтобы взяты были самые строгие меры предосторожности, чтоб этот бугай не наделал кому-нибудь непоправимой беды. Бывало, когда ведут его, то деревенские мальчишки, слышавши еще издали его страшный рев, разбегались в разные стороны, чтобы не попасться навстречу свирепому животному. Все мы думали, что только скотская прыть и тоска от нескончаемой неволи делали его таким свирепым, но Омелько, руководствуясь своим знанием скотских наречий, подметил, что рев нашего бугая выражал нечто поважнее: агитацию к мятежу и неповиновению.

У бугаев, по соображениям Омелька, бывают такие качества, какие встречаются у некоторых особей из нашего брата человека: у них какая-то постоянная неукротимая страсть волновать без всякой прямой цели, смута для смуты, мятеж для мятежа, Драка для драки; спокойствие им приедается, от порядка их тошнит, им хочется, чтоб вокруг них все бурлило, все шумело; при этом их восхищает сознание, что все это наделано не кем другим, а ими. Таких существ можно найти, как мы сказали, между людьми; есть они и между скотами. Таким был и наш бугай, и от него-то, всескотного агитатора, пошло начало ужасного восстания, о котором идет речь. Стоя постоянно в своем загоне в грустном одиночестве, наш бугай ревел беспрестанно и днем, и ночью, и Омелько, великий знаток бычачьего языка, услышал в этом реве такие проклятия всему роду человеческому, каких не выдумал бы сам Шекспир для своего Тимона Афинского; когда же сходились ввечеру в загоне с пастбищ волы и коровы, бугай заводил вечерние беседы со своим рогатым братством, и тут-то удалось ему посеять между товарищами по породе первые семена преступного вольнодумства. Омелько за свою долголетнюю службу возведен был в сан главноуправляющего всею скотскою областью, и в его ведомстве были уже не только волы и коровы, но и овцы, и козы, и лошади, и свиньи. Само собою разумеется, что на высоте своего министерского достоинства, при многочисленных и разнообразных занятиях ему невозможно было быть часто близким свидетелем таких возмутительных бесед и потому тотчас принять первоначальные

предупредительные меры – то была обязанность низших должностных лиц.

Но при глубоком знакомстве со скотскою речью и со скотскими нравами Омельку было достаточно раза два-три зайти в загон, где помещался рогатый скот, чтобы по некоторым подмеченным чертам впоследствии, когда произошел взрыв мятежа, тотчас узнать, откуда истекал он в самом начале. К сожалению, замечу я, Омелько отличался необычайною кротостью и мягкостью в системе управления и снисходительно относился к тому, против чего бы, как показали последствия, следовало тогда еще прибегнуть к самым крутым способам искоренения зла в самом зародыше. Не один раз до ушей Омелька, входившего на короткое время неожиданно в загон, долетали возмутительные выходки бугая, но Омелько смотрел на них как на заблуждения молодости и неопытности. Речи же, произносимые бугаем на таких митингах, были в переводе на человеческий язык такого смысла:

– Братья-волы, сестры и жены-коровы! Почтенные скоты, достойные лучшей участи, чем та, которую вы несете по воле неведомой судьбы, отдавшей вас в рабство тирану-человеку! Долго, так долго, что не нашей скотской памяти прикинуть, как долго, – пьете вы ушат бедствий и допить его до дна не можете!

Пользуясь превосходством своего ума перед нашим, коварный тиран поработил нас, малоумных, и довел до того, что мы потеряли достоинство живых существ и стали как бы немыслящими орудиями для удовлетворения его прихотей. Доят люди наших матерей и жен, лишая молока наших малюток телят, и чего-то ни выделяют они из нашего коровьего молока! А ведь это молоко – наше достояние, а не человеческое! Пусть бы люди вместо наших коров своих баб доили, так нет: свое, видно, им не так хорошо, наше, коровье, вкуснее! Но это бы еще ничего. Мы, скоты, народ добросердечный, дозволили бы себя доить, лишь бы чего хуже с нами не делали. Так нет же; посмотрите, куда деваются бедные телята. Положат бедняжек-малюток на воз, свяжут им ножки и везут! А куда их везут? На зарез везут бедненьких малюток, оторванных от материнных сосцов! Алчному тирану понравилось их мясо, да еще как! За лучшее себе кушанье он его считает! А со взрослыми братьями нашими что тиран выделяет?

Вон, братия наша, благородные волы, неся на выях своих тяжелое ярмо, волочат плуг и роют им землю: наш тиран бросает в изрытую воловьим трудом землю зерна, из тех зерен вырастает трава, а из той травы умеет наш тиран сделать такую вот глыбу, словно бы земля, только белее, и

называет это наш тиран хлебом и пожирает его, затем что оно очень вкусно.

А наш брат рогач пусть отважится забраться на ниву, вспаханную прежде его же собственным трудом, чтоб отведать вкусной травки, сейчас гонят нашего брата оттуда бичом, а не то и дубиною. А ведь по правде, так наше достояние – трава, что вырастает на той ниве, а не человека: ведь наша братия тащила плуг и землю взрывала; без того трава эта не выросла бы на ниве сама собою. Чья была работа – тот и пользуйся тем, что вышло из той работы. Следовало бы так: нас в плуг запрягали, нашим трудом вспахали ниву, так нам и отдай траву, что на той ниве посеяна, а коли так, что и ему, человеку, нужно взять себе за то зерно, что он бросал в изрытую нашим трудом землю, так уж по крайности так: половину отдай нам, а другую половину себе возьми. А он, жадный, все один себе забирает, нам же достаются от него одни побои. Но брат наш скот такой добросердечный народ, что и на то бы согласился. Так разве этим и кончается жестокость нашего тирана над взрослыми волами! Случалось ли вам, братцы, пасясь в поле, видеть, как по столбовой дороге гонят стадо нашего брата рогатого скота либо овец? Стадо такое жирное, веселое, играет! Подумаете: сжалился тиран, раскаялся в своих злодеяниях над нашею породой. Откормил нашу братию и на волю пустил! Как бы не так! Глупое стадо играет и думает, что его и впрямь отпустили на волю, в широкую степь провожают. Узнает скоро оно, какая воля его ожидает! Тиран точно кормил его; все лето наш брат скот гулял на степи в полном довольстве, и работою его не томили, но зачем это делалось? Отчего тиран стал к скотам так милостив? А вот зачем; спросите, куда теперь это стадо гонят, и узнаете, что злодей-хозяин продал свое стадо другому злодею человеческой породы, а тот гонит его в большие людские загоны, что зовутся у них городами. Как только пригонят туда стадо, так и поведут бедных скотов на бойню, и там старым волам будет такая же участь, как молодым телятам, да еще мучительнее. Знаете ли, братцы, что такое эта бойня, куда их пригонят? Холод пройдет по нашим скотским жилам, как вообразишь, что там делается, на этой бойне, и недаром наш брат скот жалобно мычит, когда приближается к городу, где находится бойня.

Привяжут несчастного вола к столбу, злодей подойдет к нему с топором, да в лоб его промеж рогов как ударит – вол от страха и от боли заревет, поднимется на дыбы, а злодей его в другой раз ударит, да потом ножом по горлу; за первым волом второго, а там третьего; да так десяток, другой: целую сотню волов повалят; кровь бычачья льется потоками; потом начинают снимать с убитых шкуры, мясо рубят в куски и продают в своих лавках, а другие волы, которых также пригонят в город на смерть,

идут мимо тех лавок и видят: висит мясо их товарищей, и чувствует их бычачье сердце, что и с ними самими то же станет! Из наших шкур тиран prepares себе обувь, чтоб ноги свои проклятые охранять, делает из тех же наших шкур разного вида мешки, куда вещей своих наложит и на воз взвалит, а в такой воз нашу же рогатую братью запряжет, да еще из наших же шкур вырезывает узкие полосы, бичи, и нас же лупит теми бичами, нашею шкурою; а иногда и один другого теми бичами из нашей шкуры они бьют! Тираны бессердечные! Не с нами одними они поступают таким образом; и промеж себя не лучше они расправляются! Один другого порабощает, один другого грызет, мучит... Злая эта людская порода! Злее ее на свете нет. Всех зверей злее человек! И такому-то лютому, кровожадному зверю достались мы, скоты простодушные, в тяжелую невыносимую неволю! Не горькая ли, после этого, участь наша!

Но в самом ли деле нет нам выхода? В самом ли деле мы так слабы, что никогда и никак не можем освободиться из неволи? Разве у нас нет рогов? Мало разве бывало случаев, когда наши братья рогачи в порыве справедливого негодования распарывали рогами животы нашим угнетителям? Разве не случалось, что, как наш рогатый брат заденет ногой человека, так сразу ему ногу или руку перешибет? Бессильны мы, что ли? Но ведь наш злодей запрягает нашего рогатого брата именно тогда, когда нужно бывает перевозить большую тяжесть, какой самому человеку не поднять.

Стало быть, наш тиран сам хорошо знает, что у нас много силы, побольше, чем у него самого. Угнетатель смел с нами тогда только, когда не ждет от нас сопротивления, когда же увидит, что наши ему не поддаются, то зовет других своих братии людей, и эти прибегают к коварству над нами. Иногда все бычачье стадо не захочет повиноваться скотарю, он его гонит вправо, а оно хочет идти влево: тут скотарь позовет других скотарей, и обступят наших те скотари с одной стороны, а те с другой, а третьи спереди станут и пугают нашего брата и так поворачивают все стадо куда хотят. Наши, по малоумию своему, того не смекнут, что хоть и обступили их кругом скотари, а все-таки их менее, чем нашего брата в стаде: не покорились бы да, рогами напирая на скотарей, пошли бы, так и не сладили бы скотари со стадом, а то вот не смекнут, что им надобно делать, и слушаются, и идут, куда их гонят, а сами только вздыхают, да и есть отчего вздыхать; нашему брату хотелось бы вкусной травки в роще покушать да поиграть маленько по нашему нраву: рожками пободаться для забавы, об дерево потереться, а нас туда не пускают и гонят в такой выгон, где кроме низкого спорышу нечего пощипать, либо же в скучный загон загоняют жевать солому. Все это оттого, что мы человеку послушны и боимся показать ему свое скотское

достоинство. Перестанем повиноваться тирану, заявим ему не одним только мычаньем, но дружным скаканием и боданием, что мы хотим во что бы то ни стало быть вольными скотами, а не трусливыми его рабами.

О, братья-волы и сестры-коровы! Мы долго были юны, незрелы! Но теперь иная пришла пора, иные наступили времена! Мы уже достаточно созрели, развились, поумнели! Пришел час сбросить с себя гнусное рабство и отомстить за всех предков наших, замученных работою, заморенных голодом и дурным кормом, павших под ударами бичей и под тягостью извоза, умерщвленных на бойнях и растерзанных на куски нашими мучителями. Ополчимся дружно и единорочно!

Не мы одни, рогатый скот, пойдем на человека: с нами заодно грянут на него и лошади, и козы, и овцы, и свиньи... Вся тварь домашняя, которую человек поработил, восстанет за свою свободу против общего тирана. Прекратим же все наши междоусобия, все несогласия, подающие к междоусобиям поводы, и будем каждую минуту помнить, что у всех нас один общий враг и утеснитель.

Добьемся равенства, вольности и независимости, возвратим себе ниспроверженное и попранное достоинство живых скотов, вернем те счастливые времена, когда скоты были еще свободны и не подпадали под жестокую власть человека. Пусть станет все так, как было в иное блаженное, давнее время: снова все поля, луга, пастбища, рощи и нивы — все будет наше, везде будем иметь право пастись, брыкаться, бодаться, играть... Заживем в полной свободе и в совершенном довольстве. Да здравствует скотство! Да погибнет человечество!..

Эта возмутительная речь бугая возымела свое действие. После того в продолжение целого лета рогатые скоты разносили революционные идеи по загонам, пастбищам, выгонам, начались подъясенные, подзаборные, поддубравные совещания, толковали все о том, как и с чего открыть бунт против человека. Многие были такого убеждения, что нет ничего проще, как действовать по одиночке, колоть рогами то того, то другого скотаря, пока всех переведут; те же, которые были поотважнее, представляли, что лучше сразу уничтожить того, кто всем скотарям дает приказания, — самого господина заколоть. Но те из волов, которые хаживали под чумацкими обозами по дорогам и имели возможность расширить горизонт своего мировоззрения, подавали такую мысль: «Что из того, если мы заколем тирана? Его не станет, другой на его место отыщется. Если уж предпринимать великое дело освобождения скотства, то надобно делать прочно, совершить коренное преобразование скотского общества, выработать нашим скотским умом такие основы, на которых бы навсегда утвердилось его благосостояние. Да и можем ли мы, рогатые скоты, одни

все устраивать для всех! Нет! Нет! Это дело не наше исключительное, но разом и других скотских пород, находящихся у человека в порабощении. И лошади, и козы, и овцы, и свиньи, и, пожалуй, еще вся домашняя птица, все должны подняться на общего тирана и, низвергнувши с себя гнусное рабство, на общем всекотном собрании устроить новый вольный союз».

Такие бычачьи предначинания перешли к лошадям, которые, составляя табун, паслись на одном поле с рогатым скотом. И в их ржущее общество проник дух мятежа. По сведениям, сообщенным Омельком, лошадиный язык совершенно отличен от бычачьего, но совместное жительство установило точки сближения двух пород. Между лошадьми распространялось знание языка бычачьего, а между волами лошадиного. Что в бычачьей породе значил бугай, то между лошадьми во всех отношениях значили жеребцы.

Жеребцы были народ буйный, задорный, наклонный ко всякого рода своевольствам, самую природою, можно сказать, предназначенный к роли агитаторской. В моем имении в конском табуне был рыжий жеребец, большой забияка. Бывало, когда его ведут, то не иначе, как спутают ему ноги, и двое табунщиков держат его за поводья. Попытались его один раз запрячь в оглобли и погнать по дороге с телегою, но он тотчас самовольно свернул в сторону, вскочил передними ногами на первую попавшуюся ему на глаза хату и заржал во всю глотку. Другой раз приехали ко мне гости; я приказал привести его напоказ вместе с другими красивейшими лошадьми; он двух меринов ни с того ни с сего покусал, третьего копытами задел, а когда мерины стали давать ему сдачи, то поднялся такой кавардак, что я приказал поскорее разнять их и угнать прочь.

Такой проказник! Но, как ни бивал он в игрушках свою братью, а между лошадьми пользовался большим уважением, и все были готовы слушаться его во всем. В нравах лошадиной породы драчливость не считается пороком, напротив, дает право на уважение и внимание: ни дать, ни взять, как бывало когда-то у варягов. Вот этот-то рыжий агитатор стал возмущать лошадей против человеческого господства:

— Довольно терпеть от человеческого тиранства! — вопил он. — Двуногий злодей поработил нас, от века вольных четвероногих тварей, и держит наши поколения за поколениями в ужаснейшей неволе! Чего ни делает он с нами! Как ни надругается над нами! Седлает нас, ездит на наших спинах верхом и предаёт нас на погибель своим врагам! Знаете ли, что называется у людей кавалерией? Те кони, что взяты были в их кавалерию, рассказывают ужасы о том, что там творится с нашим братом! Дыбом гривы становятся, когда слушаешь их рассказы!

Усядутся на нашего брата верхом люди и несутся одни на других, хотят убивать друг друга, да нас убивают. Не жалко нас их беспощадному, суровому сердцу! Сколько тут проливается благородной конской крови! Какие ужасающие зрелища открываются тогда! Иной несчастный конь, потерявши одну ногу, скачет вслед за другими на трех ногах, истекая кровью, пока не упадет без чувств; другой, потеряв разом две ноги, ползает, напрасно силясь стать на остальных двух; третий пробит в грудь, валяется и желает себе смерти, у четвертого глаза выбиты, у пятого голова разрублена... Грудами навалены конские трупы вместе с человеческими!

И за что это? Мы, бедные, разве знаем, за что так они дерутся между собою? Их это дело, а не наше. Коли не поладили между собою, ну и дрались бы, грызлись бы между собою, резали бы друг друга. Ведь, когда мы между собою поссоримся, сами грыземся, кусаемся, брыкаемся, а их не зовем, не путаем в наши ссоры! Зачем же они, перессорившись между собою, гонят нас на лютую смерть?

Не спрашивают они коней: хотят ли они идти с ними на войну, а оседлают, посадят на них и едут воевать; о том не подумают, что, быть может, нашему брату вовсе нет никакой охоты умирать, не знаячи, за что умирают. Да и без войны мало ли как утесняет нас человек, как ругается над нами! Накладет в свои повозки или в сани всякой тяжести, запряжет нашего брата и заставляет тащить, а сам, погоняя, лупит его немилосердно бичами и по спине, и по голове, и по чему попало, без малейшей жалости, пока до смерти забудет: случается, бедная лошадь тут и дух испустит; а иные от непомерной тягости надорвутся, ноги себе изломают, бессердечный тиран покинет их издыхать, а сам других коней запряжет на ту же муку. Ах, братцы! Жесток человек, но и лукав: не обольщайтесь его коварством. Прикидывается человек, будто любит нас, расхваливает нас перед другими людьми. Не верьте ему. Не прельщайтесь и тем, что он будто заботится о приращении нашей породы, собирает табун кобыл, припускает к ним жеребцов... Для себя он это делает, а не для нас: хочет, чтоб наша порода плодила и доставляла ему невольников. Одних из нас он оставляет для приплоду, зато других, и в гораздо большем числе, варварски уродует, лишает возможности оставлять потомство и осуждает их на вечный невольный труд и всякого рода муки. Деспот развращает нашу благородную породу, хочет, чтоб и между нами был такой общественный строй, как между людьми, что одни блаженствуют, а другие страдают.

Одних из нашего брата он досыта кормит овсом и сеном; их работою не томят, если и запрягут или оседлают, то на короткое время, жалеют их и на отдых посылают; стоят себе в конюшнях да овсец кушают вволю, а

как выпускают их погулять, то играют, скачут, веселятся; иные же и в стойла не ставятся, гуляют себе в поле с кобылами на полной свободе в раздолье, зато другие, всегда впроголодь, изнемогают от беспрестанной гоньбы и тягостной возки, никакой награды себе не ожидая за труды свои, кроме ударов бичами!

Братцы! Разве у вас нет копыт и зубов? Разве не умеете брыкаться и кусаться? Или бессильны вы стали? Но посмотрите: как часто тиран больно платится за свою наглость, когда нападает на такого ретивого коня, который в порыве сознания своего конского благородства вырвется так, что четверо злодеев не могут удержать его, а коли хвастливый и дерзкий деспот отважится вскочить ему на спину, он сбросит его под себя, да еще иногда и ногами притопчет, так что наглец после того несколько дней лежит больным!

Деспот считает нас до того глупыми и рабски покорными, что не боится сам давать нашему брату оружие против себя. Вздумал же он вколачивать гвозди нам в копыта! Подкованные лошади! Обратите на тирана его же данное вам оружие: поражайте его подковами! А вы, неподкованные, докажите ему, что и без подков копыта ваши настолько крепки и увесисты, что вы можете ими показать свое превосходство пред человеком! И подкованные, и неподкованные, дружно и единокопитно восстаньте на лютого врага.

Кроме копыт, пустите в дело и ваши зубы. Ими также можете причинить немало вреда нашему поработителю! Идемте добывать себе свободы! Будет вам вечная слава от всех грядущих лошадиных поколений на многие века. Да не только от лошадиного рода, а и от прочих скотов будет вам слава: все пойдут разом с нами! Весь посеянный человеком овес будет наш на корню, со всею травою. Никто не посмеет нас выгонять оттуда, как прежде делалось. Не станут уже нас более ни запрягать, ни седлать, ни подгонять бичами. Вольность! Вольность! В бой, братцы! За общую свободу всех скотов, за честь лошадиного племени.

От таких речей раздалось буйное ржание, мятежные взвизги, громоподобный топот, метание ног на воздух и обычные звуки, сопровождающие конскую удаль.

«На человека! На человека! На лютого тирана! Лгать его! Бить его! Кусать его!»

Такие возгласы слышались из табуна тому, кто был в состоянии понимать конский язык. Рогатый скот с восторгом увидел, что восстание, вспыхнувшее сначала в его среде, перешло уже к лошадиной породе. Волы и коровы отважно замотали рогами и все воинственно замычали. И

рогатые, и копытчатые двумя ополчениями двинулись по направлению к усадьбе.

Вправо от табуна, на другом взгорье, отделяемом оврагом от того, на котором паслись лошади, бродили козы и овцы. Увидя смятение в стаде рогатого скота и в табуне, и те заволновались, и всем своим стадом стали порываться к волам и лошадям. Но им приходилось перепрыгивать через овраг, который был не широк, или обходить его. Козлы считали себя как бы самою природою предназначенными ходить в голове стада; замекекавши, бросились они к оврагу и с козлиною живостью перепрыгнули через него, гордо поднявши головы и тряся бородами, ожидали как будто одобрения своему ухарству. За ними козы так же легко перепрыгнули через овраг. Но овцы оказались не так ловкими. Некоторые, правда, последовавши за козами, очутились на другой стороне оврага, но многие попадали в овраг, ползали по дну его, карабкаясь друг по дружке, и жалобно блеяли. Это не удержало задних последовать их примеру. Они бежали по направлению, указанному передними, и очутились также в глубине оврага. Перешедшие через овраг сами не знали, что им теперь делать, и толпились в кучку, испуская какое-то глупо-демократическое блеяние.

Бараны метались из стороны в сторону, наталкиваясь лбами один на другого.

Такое смятение между скотами разных пород увидали свиньи, двигавшиеся с противоположной стороны по дороге, ведущей из поля в село. Сразу обуял их революционный дух, вероятно проникший в свинское общество заранее. Кабаны, вырывая землю клыками, забежали вперед и повернули по дороге, ведущей прямо к господской усадьбе, а за кабанами все хрюкающее стадо побежало по той же дороге и подняло такую пыль, что за нею нельзя было видеть солнца.

Омелько, увидавши тревогу между скотами, бросился по дороге, по которой бежали свиньи, и думал с них начать укрощение мятежников. Разумея хрюкающую речь, Омелько услышал, что кабаны возбуждали прочих свиней не отставать от иных скотов, восставших против невыносимой власти человека.

До ушей Омеляка доходили возбудительные припоминания о засмоленных к рождественскому празднику кабанах, о щетинах, вырванных из спин живых свиней, о заколотых в разные времена поросятах. Толстая свинья хрюкала об оскорблениях, которые наносит человек свинской породе, обзывая свинством то, что ему кажется противным. Другая, свинья, бежавшая с нею рядом, отвечала: «Это еще

ничего, а хуже то, что человек, презирая свиней и ругаясь над их свойствами, колет их на сало, приготовляет из свиного мяса окорока и колбасы. Мясо и сало наше тиранам по вкусу приходится. Живую свинью они хуже всякой иной твари считают, а зарезанной свинье честь пуще, чем другим, воздают, как будто в поругание над нашим свинским родом». Так, бегучи по дороге к господской усадьбе, хрюкали свиньи, возбуждая одна в другой ненависть к человеку.

– С чего будем начинать? – спрашивали они друг друга, когда уже до господской усадьбы оставалось недалеко.

– Наше дело – землю рыть, – отвечали другие. – Повалим прямо в господский сад; там у господ есть огородные овощи. Все грядки изроем. Потом ворвемся в господский цветник, что господа устроили около хором себе на утеху: все там кверху дном перевернем по-свински! Пусть у людей надолго останется об этом саде и цветнике память, что там свиньи побывали!

Омелько, несколько минут бежавший рядом со свиньями, все еще не теряя надежды удержать их набег и завернуть свинское стадо назад, решительно отказался от своего намерения после того, как один кабан грозил заколоть его клыками. Омелько сам свернул с дороги и побежал по прямому направлению к усадьбе полем.

Как только Омелько явился в господском дворе и принес туда весть о всеобщем поголовном восстании скотов, я с двумя своими сыновьями отправился на вышку, построенную на здании господского дома, и смотрел в зрительную трубу. Сначала взбунтовавшиеся скоты, устремлявшиеся к усадьбе, мне показались тучею, потом полчища их стали обозначаться яснее. В мою зрительную трубу увидел я, как лошади, бегучи, по временам брыкали, а быки выпучивали вперед свои рогатые головы. И те, и другие, как видно, тешились в воображении, как они будут нас лгать и бодать.

Уже те и другие были недалеко от усадьбы. Овцы с козами стояли у оврага, как бы в раздумье, что им делать, и только блеяли и мекекали. Сбежавши с вышки в дом, я мимоходом глянул в окно, выходившее в сад, и увидел, что свиньи уже вторгнулись туда через то место, где деревянный забор, ограждавший сад, был разрушен и оставался неисправленным. Одни с неистовством опустошали грядки с картофелем, репою, морковью и другими овощами и жадно пожирали корни, другие, опередивши остальных, ворвались уже в цветник, расположенный под самую стеною господского дома, где находились окна, через которые я

смотрел: я видел, как нахальные свиньи своими рылами вывертывали из земли розаны, лилии и пионы.

Я побежал в комнату, где у меня хранилось оружие, взял для себя и для своих двух сыновей по ружью, кроме того, роздал по ружью каждому из прислуги и вышел на крыльцо, обращенное к дворовым воротам. Я приказал запереть ворота и калитки, ведущие во двор с наружной стороны. Самое слабое у нас место было в саду, куда уже прошли свиньи, и опасно казалось, чтоб и прочие скоты не устремились туда же, но нам подавало последнюю надежду, что если б им удалось овладеть садом, то в нашем владении оставался еще двор, куда из сада проникнуть неприятелю было невозможно иначе, как разве обративши в развалины здание господского дома, отделявшего двор от сада.

Входя в дом за ружьями, я дал приказание одному служителю съездить верхом в город, отстоявший от нашего города на пятнадцать верст, и просить исправника распорядиться о присылке воинской силы для укрощения мятежа. Мера эта не удалась. Едва мой посыльный, взявши верхового коня, выехал за ворота, как этот конь сбросил с себя своего седока и убежал к мятежным лошадям.

У меня было немало собак. Я иногда уезжал на охоту. Собаки, как и следовало было ожидать, судя по составившейся об их породе репутации, не показывали ни малейшей склонности пристать к мятежу. На них мы положились. Но их надобно было разделить на два отряда: один отправить в сад, чтобы, если можно будет, выгнать оттуда свиней, другой – поставить стеречь вход в ворота двора и отбивать напор скотов, если бы те стали овладевать этим входом. Ограда около двора была кирпичная, но невысокая.

Лошади, поднимаясь на дыбы, уже зацепляли передними ногами окраину ограды и показывали нам через нее свои злобные морды, но не в силах были перепрыгнуть через ограду.

На крыльцо ко мне прибежала женщина с новым угрожающим известием. На птичьем дворе вспыхнул бунт. Первые поднялись гуси. Кто знает, какими путями проник к ним на птичий двор мятежный дух, уже охвативший четвероногих домашних животных, только гуси своим змееподобным шипением обличили злой умысел – ущипнуть птичницу. Едва та успела шагнуть к воротам птичьего двора, как послышалось либеральничающее кахтанье уток, которые при этом с таким нахальным видом переваливались с боку на бок, как будто хотели сказать: «Да нам теперь и человек нипочем!» За ними индюки, распутивши надменно

хвосты свои, собирали вокруг себя индеек и разом с ними загорланили таким диким криком, как будто хотели им кого-то испугать.

Большой петух огненного цвета подал своим крикливым голосом возмутительный сигнал, вслед за ним закукарекали другие петухи, закудахтали куры, и все куриное общество начало подлетать, то усаживаясь на жердях хлева, то слетая оттуда на землю.

Омелько, заглянувши в куриный хлев, услышал, что куры, подняв крыло восстания, грозят клевать людей в отмщение за всех зарезанных поваром кур и цыплят, за все отнятые у наседок яйца.

Получивши такое известие, мы недолго оставались на крыльце. Я заметил, что мы стали слишком низко и что нам надлежало бы избрать другую, более возвышенную позицию. Оглядывая кругом наш двор, я сообразил, что на всем его пространстве нет выше пункта, как деревянная башня, служившая голубятнею, и мы, сошедши с домового крыльца, направили к ней шаги свои, решаясь взойти на ее высоты и там отбиваться до тех пор, пока нас или не достанут оттуда и не растерзают взбунтовавшиеся животные, или пока нас не избавит от гибели какой-нибудь непредвиденный случай. Но на пути к голубятне встретило нас неожиданное явление: четыре кота сидели вместе на земле; двое из них были из господского дома, и один, претолстый котище белой масти с большими черными пятнами на спине и на брюхе, любимец женской прислуги, большой мышеядец, приобретший себе славу во всем дворе победами над огромными крысами.

Этот кот, всегда ласковый, приветливый, всегда нежно около человека мурлыкающий и трущийся, теперь, ни с сего, ни с того, сидя посреди двора с другими котами, устремил на нас такие зловещие взоры, что казалось, готовился броситься нам в лицо с выпущенными когтями.

Собаки не внушали нам подозрений в измене, но о кошачьей породе издавна сложились иные мнения.

Так вот и казалось, что этот домашний наш кот в критическую для нас минуту опасности от врагов сыграет с нами такую роль, какую когда-то сыграл Мазепа с Петром Великим. Мы невольно остановились, увидев перед собой кошачью группу, но мой меньшой сын, не думая долго, свистнул на собак и, указавши им на котов, крикнул: «Ату их!» Собаки бросились на котов, а те в испуге пустились в разные стороны. Я видел, как толстый пестрый кот полез по одному столбу из поддерживавших крыльцо дома и, уцепившись когтями за стенку столба, оборачивал голову назад и глядел угрожающими глазами на собаку, хотевшую

достать его, испуская вместе с тем звуки, свойственные кошачьей природе в минуты гнева и раздражения.

Дошли мы до голубятни, стали всходить наверх по узкой лестнице; тут стали на нас налетать голуби, как будто намереваясь нас задеть крыльями и клюнуть клювом. Мы стали от них отмахиваться, подозревая, что и эти птицы, кроткие и нежные, какими привыкли мы их считать, также увлеклись мятежным духом, овладевавшим все и четвероногое, и двуногое царство подвластных человеку животных; и они, казалось нам, вспомнили те горькие для них минуты, когда к ним на голубятню появлялся повар со своим убийственным ножом искать голубят на жаркое.

У вас в великороссийских губерниях голубей не едят, и если бы там у вас произошел такой бунт домашних тварей против человека, то вы бы со стороны голубей были совершенно застрахованы от всякой опасности. Впрочем, и у нас в описываемые минуты голуби не показали продолжительной вражды к человеку. Мой меньшой сын выстрелил из пистолета, и голуби разлетелись.

Тогда мы беспрепятственно заняли высоты голубятни и смотрели оттуда на огромное полчище рогатого скота и лошадей, облегавшее нашу усадьбу. От рева, визга и ржання во дворе невозможно было ни говорить, ни слушать.

Омелько, выбежавши из птичьего двора, метался по двору как угорелый: видно было, что и он, как все мы, потерял голову. Я позвал его на голубятню и сказал:

– Ты один знаешь скотский язык и умеешь с ними объясняться. Конечно, за двор я тебя не пошлю, потому что чуть только ты высунешь голову со двора, как тебя заколет какой-нибудь бык или закусает кобыла, а потом они ворвутся в ворота, и всем нам капут придет. А вот что: нельзя ли тебе влезть на ограду и оттуда уговаривать бунтовщиков. Попытайся!

Омелько отправился исполнять поручение. Мы с напряженным вниманием следили за его движениями, видели, как, подставивши лестницу, он взобрался на ограду, но не могли расслышать, на каком языке он обращался к мятежникам. Мычал ли он, ржал ли, не знаем. Но слышали мы за оградой ужаснейший шум и увидали, как Омелько, соскочивши с ограды, шел к нам и махал руками, как делают тогда, когда хотят показать, что задуманное не удастся.

– Ничего, барин, не подделаем с разбойниками! – сказал он, пришедши к нам на голубятню. – Я их стал было усовещевать: я им говорил, что сам

Бог сотворил их на то, чтоб служили человеку, а человек был бы их господином! Но они все заорали: «Какой такой Бог! Это у вас, у людей, какой-то есть Бог! Мы, скоты, никакого Бога не знаем! Вот мы вас, тиранов и злодеев, рогами забодаем!» – кричали рогатые. «Копытами залягаем!» – произнесли лошади. «Зубами загрызем!» – закричали разом и те, и другие.

– Что же нам теперь делать, Омелько? – спрашивал я в невыразимой тревоге.

– Одно средство осталось, – сказал Омелько. – Сказать им, что отпускаем на волю всех: и волов, и коров, и лошадей. Идите, мол, себе в поле, паситесь как знаете, можете съесть все, посеянное на нивах. Вас-де мы не станем приневоливать ни к каким работам, ступайте! Так они, обрадовавшись, разойдутся по полям, а с овцами, свиньями и с птицею мы как-нибудь сладим. Нам бы только вот этих рогатых да копытчатых спровадить: они только нам опасны, потому что сильны! А как пойдут в поле, так недолго натешатся: сами же меж собою передерутся, перегрызутся; а хоть и поля потолкут, так ведь не многие, уже большая часть хлеба убрана, остальное же хоть и пропадет, да, зато мы все останемся целы и живы. Жальче всего только сена в стогах. Они его, разбойники, все истребят! Сами же скоты не будут знать, что им с собой делать, и тогда можно будет найти способы, как их подобрать снова под власть нашу. Самый долгий срок их воле будет, если будут бродить в полях до заморозков, а уже, когда в поле ничего расти не будет, тогда и сами к нам придут. А ведь до осени уж не так далеко!

Я разрешил Омелько поступить так, как он замыслил. Он снова полез на ограду, и мы еще с большим вниманием, чем прежде, следили за его движениями. Спустя несколько минут все осаждавшее двор полчище скотов стремглав бросилось с ревом и ржанием в поле. Лошади и волы прыгали, видно было, что это делается от радости.

Омелько слез с ограды, пришел к нам и говорил:

– Избавились, слава Тебе, Господи! Удалось-таки спровадить лошадей и рогатый скот. Пустите всех собак в сад на свиней, а вся дворня пусть идет усмирять птицу, я же потом пойду усмирю коз и овец.

– Как это ты спровадил рогачей и копытников? – спрашивал я у Омелька.

– А вот как, – объяснял Омелько. – «Чего вам нужно, спросил я их, – скажите прямо. Может быть, мы вам все сделаем, что вы захотите». – «Воли! Воли!» – закричали разом и рогатые, и копытчатые. А я им сказал: «Ну что ж? Идите на волю! Ступайте в поле, потолките все хлеба, что

остались еще на корню. Мы вас уже не станем потреблять ни на какие работы. Вольные будете себе!» Они как это от меня услышали, так тотчас с радости затопали, забрыкали, крикнули: «Мы вольные! Мы себе воли добыли! Гулять на воле! Наша взяла! Воля, воля!» И побежали.

— Молодец, Омелько, — сказал я ему, — честь великая и хвала тебе! Ты нас всех от беды избавил. Мы сошли с голубятни. Я приказал собрать всех собак, провести через дом в сад и присоединить к тем, которые туда были отряжены заранее расправляться со свиньями. До сих пор дело их не могло идти вполне успешно, так как число высланных в сад собак было не велико до прибытия к ним на помощь тех, которые оставались во дворе. Когда собаки проведены были в сад, я вошел в дом и стал у окна, уставив в открытое окно заряженную винтовку. Я нацелился в кабана, который в цветнике трудился над кустом сирени, стараясь выдернуть его с корнем из земли. Пуля пробила хищника насквозь. Свиньи, испуганные выстрелом, повалившим дерзновеннейшего их воителя, напираемые отовсюду собаками, покинули цветник и побежали к тем своим товарищам, которые в конце сада расправлялись с огородными овощами. Собаки не давали им ни прохода, ни отдыха: одни вцеплялись свиньям в ноги, другие забегали вперед, и хватали свиней за уши, и тащили под жалобные звуки свиного стенания. Вслед за собаками побежали двое слуг с ружьями, дали два выстрела, решили двух свиней и тем придали собакам ярости и задора.

Вскоре сад был очищен от свиней, собаки гнались за ними по дороге, по которой побежали свиньи, поднявшие такую тучу пыли, как и тогда, когда в воинственном свином задоре бежали по той же дороге на приступ к саду.

Мы отправились на птичий двор. Там царствовал беспорядок в полном разгаре. Все летало, подлетало, скакало, подскакивало, прыгало, металось, бегало и на всякие голоса выкрикивало: и гоготало, и шипело, и свистало, и охало, и кудахтало, и кукарекало. Меньшой мой сын выстрелил из пистолета. Птичье общество сперва как будто еще сильнее заволновалось от этого выстрела, но тотчас же, оторопев, утишилось на мгновение. Омелько воспользовался таким мгновением и крикнул:

— Зачем без толку орете? Скажите нам, чего хотите. Что вам нужно? Мы для вас все сделаем.

— Воли! Воли! — закричала птица своими различными языками.

— Воли! Воли! — произнес Омелько, видимо, передразнивая птицу. — Ну, хорошо. Мы вам дадим волю. Гуси и утки! Вон ваша дикая, вольная

братия, как высоко летает! Летите и вы к ним. Мы вам позволяем. Мы вас не держим! У вас есть крылья: летите!

– Да как нам лететь, коли сил на то нет! – прогоготали гуси. – Наши предки были такие же вольные, как вон те, что теперь там высоко летают. А вы, тираны, взяли их в неволю, и от них пошли наши деды и родители, и мы все родились уже в неволе, и через эту самую неволю мы все не умеем уже летать, как летают те, что вольными остались.

– Не наша в том вина, – сказал Омелько. – Рассудите сами вашим гусяным и утиным умом. Разве мы вас в неволю с воли забирали? Разве мы с вами что-нибудь такое сделали, что вы летать высоко не можете? Вы у нас из яиц вылупились и с первых дней ваших до сего часа летать не умели, да и ваши отцы и деды, что у нас жили, тоже не летали так, как эти вольные дикие летают. Ваша порода стала в подчинении у человека уже давно, так давно, что не только вы с вашею гусяною памятью, да и мы с нашею человечьею не можем сказать, как давно! Тех, что ваших предков взяли когда-то в неволю, нет давно на свете. Мы же, что теперь живем на свете, чем тут виноваты, что вы летать высоко не умеете? Мы вас отпускаем на волю! Летите! А коли не умеете, так нас в том не вините.

Гуси отвечали:

– Мы не в силах лететь и остаемся у вас. Только вы нас не режьте. Нам жить хочется.

Вслед за гусями в таком же смысле прокахкали и утки.

Омелько на это сказал:

– Вам жить хочется, говорите вы. Но ведь вам, я думаю, и есть хочется. Как же вы хотите, чтобы мы вас кормили, а от вас за то не получали себе никакой пользы. Нет, нет. Этак нельзя. Летите себе, коли не хочется, чтобы вас резали. Летите себе на волю. Не держим вас насильно. А коли хотите у нас оставаться и корм от нас получать, так и нам что-нибудь доставляйте. Мы вас кормим, за то вас и режем. И от вас хотим кормиться за то, что вам даем корм. Что за беда, если когда-нибудь повар вашего брата гуся на жаркое зарежет! Не всех же вас разом порежет! Хуже было бы, когда бы вы пошли на волю, да на вас напал бы лютый зверь или злая птица. Всех бы вас разом истребили. А у нас когда-нибудь случится, что повар двух-трех каких-нибудь гусей или уток зарежет. Зато вы все поживаете у нас в добре и холе. Сами собою вы никогда на воле не проживете, как у нас. Попробуйте, полетите, поживите на воле!

– Куда нам лететь, когда сил нет! – повторили гуси. То же произнесли утки своим кахканьем.

– Так живите смирно и не бунтуйте! – сказал внушительно Омелько и обратился к курам с такою речью:

– А вы, куры-дуры! Тоже захотели воли! Летите и вы, скорей летите да поднимайтесь повыше, погуляйте по поднебесью, узнаете, как там поживется без нас на полной воле. Да вы, дуры, сажня на два от земли не в силах подлететь; вас и хорьки, и кошки, и ласточки, и орлы заедят, и коршуны цыплят ваших расхватают, и сороки и вороны яиц вам высидеть не дадут! Дуры вы, дуры набитые! Уж вы-то, паче всех других птиц на свете, без нашего брата человека жить не можете. Смиритесь же, глупые, и покоряйтесь; такая, видно, наша с вами судьба, что нам надобно вас стеречь и кормить, а за то вас резать и яйца ваши брать.

Куры закудахтали самыми покорными звуками. Петухи весело закукарекали, а Омелько объяснил нам, что это они признают справедливость наших наставлений и обещают вперед совершенно покорность.

Вся птица, казалось, успокоилась и осталась в довольстве, только индейки, по своему обычаю, охали, жалуясь на свою горемычную, ничем не поправимую долю.

Омелько отправился к овцам и козам. Те овцы, которые успели перебраться через овраг, стояли, все еще сбившись в кучку, и не двигались далее, поглядывая глупо на свою братью, попадавшую в овраг. Бедные барахтались в глубине оврага и не знали, как из него выкарабкаться по его крутым стенкам; хотя и была возможность выйти оттуда, проходя по прямой длинной рытвине, но у овец не хватало настолько смекалки. Козлы, стоявшие наперед, как только увидели идущего против них Омелька, затопали ногами и, выставя перед ним свое козлиное достоинство, поднимали кверху свои бородатые головы и покручивали рогами, как будто хотели тем произнести: «Не подходи! Заколем!»

Но Омелько, нашедши длинную хворостину, хватил одного-другого по бокам и отогнал прочь, потом позвал пастухов и велел им вытягивать и выгонять из глубины оврага попадавших туда овец и всех их гнать в овчарню.

– Смотрите у меня! – кричал он вслед овцам. – Вздумаете бунтовать, будет вам беда! Велю зачинщиков на сало порезать! Вишь, дуры! Туда ж и они: захотели воли! Да вас, глупые, тотчас бы всех волки поели, если бы мы, люди, отпустили вас от себя на волю! Благодарите нас за то, что мы такие милостивые, прощаем вас за вашу глупость!

Овцы заблеяли голосом благодарности, какой требовал от них Омелько.

Стадо рогатого скота и конский табун, получивши через Омелька разрешение на полную свободу сначала, побежавши в поле, предавались там неистовому восторгу, скакали, прыгали, бегали, мычали, фыркали, ржали и, в знак взаимного удовольствия, становились задними ногами на дыбы и обнимались передними.

Оканчивался уже август. Поля были сжаты и скошены. Хлеба были почти увезены и сложены в скирды. Оставалось немного десятин неснятых хлебов таких пород, которые позже всех убираются. Скоты напали на одну неснятую полосу гречихи и потоптали так, что не осталось ни одного целого стебелька. Отправились они далее искать себе еще какой-нибудь неубранной нивы, наткнулись еще на одну и там произвели то же. Но тут рушилось согласие между рогачами и копытниками — согласие, недавно установившееся по поводу их взаимного домогательства свободы. Не знаю, собственно, за что у них возникло несогласие, но только рогачи стали бодать копытников, а копытники — лягать рогачей: и те, и другие разошлись в разные стороны. После того и в стаде тех и других произошло внутреннее раздвоение.

Поводом к тому, вероятно, был спор самцов за самок, подобно тому, как и в нашем человеческом обществе спор за обладание прекрасным полом часто бывает источником нарушения согласия и дружбы и ведет к печальным событиям.

И рогатое стадо, и конский табун разбились на отдельные группы, которые, оторвавшись от целой громады, уходили подальше от прежних товарищей. Омелько превосходно изучил скотские нравы и рассчитывал на это свойство, когда отпускал скотов на волю: он потом стал следить за отпущенными. Он встретил бродившие отдельно толпы волов и лошадей и силою своего красноречия убедил тех и других воротиться в село.

Омелько прельстил их обещаниями дать им много сена, а лошадям еще и овса; другие, оторвавшись от громады, забрели на чужие поля, попортили чужие хлеба, стянули сенца из стогов, стоявших на поле, и сами попались в неволю. Омелько, узнавши о такой их судьбе, выкупал их у чужих хозяев, заплативши последним за убытки, нанесенные скотами, и выкупленных погнал в свое село.

Наконец, как предвидел Омелько, самые задорные и упрямые скоты бродили по полям до глубокой осени, когда уже на корню нигде не осталось ничего, и стал выпадать снег. В предшествовавшую осень, как вам, я думаю, известно, это произошло ранее, чем бывает. Скоты, видя, что уже им в полях недостает пропитания, отрезвились от обольщений

суетною надеждою вольности и добровольно стали возвращаться в свои загоны. Тогда пришли с покорными головами и главные возмутители: бугай, взволновавший рогачей, и рыжий жеребец, поднявший к бунту копытников. И того и другого постигла жестокая кара: бугай, по приговору, составленному Омельком и подтвержденному мною, был подвергнут смертной казни чрез убиение дубинами, а жеребец – потере производительных способностей и запряжке в хомуте для возки тяжестей. Прочие, по-справедливому и нелицеприятному дознанию, произведенному Омельком, понесли наказание соразмерно степени их виновности.

Так окончился скотской бунт у нас, явление необыкновенное, своеобразное и, сколько нам известно, нигде и никогда не слыханное. С наступлением зимнего времени все успокоилось, но что дальше будет – покажет весна. Нельзя поручиться, чтобы в следующее лето или когда-нибудь в последующие годы не повторились виденные нами чудеса, хотя благоразумный и бдительный Омелько принимает самые деятельные меры, чтобы они более у нас не повторялись.

